

Валентина Силантьева

Малявка Саша и Петр

Привет из семидесятых

Наискосок от института к молодому парку они бежали через улицу. У двух каштанов-подростков стояла бочка с квасом и толпилась небольшая очередь. Бело-розово в резной розетке листьев сияли и светились свечи каштанов. Не по-весеннему жарко, аудитория отпугивала и отвращала. На ней был красный в белую горошину сатиновый костюм с коротенькой юбочкой. А он, в расклеванных по моде брюках и в уже по-летнему белой футболке, крепко держал ее за руку.

Конечно, перебежать улицу напротив главного корпуса не стоило – здесь было много машин и лишних глаз. Визжали тормоза, оглядывались люди, а в их числе и преподаватели вуза. Здесь мог быть и тот самый математик, чью лекцию они решили исключить из сегодняшней жизни. Потому что день был солнечным, искристым, воздух пьянил, а в парке расцвели молодые каштаны. Босоножки на высокой танкетке-платформе отстукивали скорый шаг-чечетку и припускались наперегонки с его выдавшей виды обувью. Глазищи в мохнатых ресницах глядели на мир открыто, отчаянно и радостно. Он, в развевающихся кудрях и, конечно, потерявший голову от этой девчонки, был готов на любые безумства. Да, это была пара, за которой обычно с придыханием наблюдает если не весь курс, то уж точно вся группа.

Высоколобая чернушка Саша, с глазами, что заставляли вспоминать об олененке Бемби, приехала учиться из маленького городка, населенного кондовым староверческим людом. Получив соответствующее напутствие во взрослую жизнь, она – еще по-детски тоненькая выпускница школы – таила в себе ум и стать красивой, в будущем элегантной и, безусловно, преданной жен-

щины. Той самой, которая «в горячую избу войдет», будет верна одному и, конечно, заставит скатиться к земле многие мужские сердца. Петр был белорусом. Уже взрослый, отслуживший в армии свой срок и поступивший в вуз по солдатской квоте. Он мог бы поостеречься. В институт пришел, понимая, что это единственная возможность вырвать семью из нищеты и новый горизонт прочертить для брата. Жизнь уже преподала ему не один горький урок. Рано потеряв мать, он рос мальчишкой, а потом и юношей, не знавшим ласки. Он, отец и брат должны были просто выстоять. Просто выдержать. Просто выжить. Они и выживали. Теперь – надеясь на Петра, поступившего учиться в красивом черноморском городе, о котором слышали и мечтали давным-давно.

А они – девчонка Саша-Александра и взрослый Петр – бежали через улицу наискосок. Не обращая внимания на машины с их визжащими тормозами. На повернутые в их сторону головы прохожих. На жирно блеснувшие рельсы трамвая, которые следовало перешагнуть или перепрыгнуть. Не споткнувшись на высокой платформе. Не зацепившись о штырь-крепление штаниной и старой, «с пробоинами», обувкой. Бежали. А их догонял-фотографировал пожилой еврей, который, сунув Петру бумажку с адресом ателье, торопливо крикнул: «Приходи, тебе будет память...». Эта память действительно осталась. Только не совсем о том, о чем бы хотелось.

* * *

Все начиналось просто – с «дай списать» и «что там с начерталкой?». Он где-то подрабатывал ночью и не успел сориентироваться в своем утреннем ученичестве. Она, все-таки скрыто застенчивая, подняла на него растерянный взгляд. Наверное, это и решило его судьбу. Где ему было знать, что эти карие в пол-лица глаза, начиная с ее восьмого-девятого класса, уже не раз ставили мужчину в тупик?

Однажды с визитом к ее старшей сестре в дом зашел учитель. По распределению молодых специалистов он только что приехал в их город. С сестрой Варей они были знакомы по университету и общежитию, в котором обретались студенты-филологи.

Тихо-мирно они сидели за столом под виноградными лозами, угощались нехитрой, но домашней снедью и разговаривали, как все филологи, «ни о чем», а значит, о прочитанном. Александр слыл большим докой, на курс младше его Варя в разговоре с умником старалась не отстать.

– А ты знаешь, в «Юности» публикуют повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»?

– Прочел, прочел... Вот, кажется, военный реализм поднадоел, а появится талантливая вещь, и понимаешь: не в реализме дело.

Варвара в своих кругах слыла «формалисткой» и уже потому взвилась:

– Да брось ты, Александр, модерна-авангарда хочется.

– Перехочется. Если есть о чем сказать (а война из наших домов не скоро уйдет-позабудется), то реализм как раз и сгодится – это самый универсальный метод работы со словом, к тому же – доступен всем, а не только мне да тебе.

– Ну да, ну да, Аристотель с его трактатом о жизнеподобии, а еще писатели Булгаков и Платонов для народа плохи...

Засмеявшись и сказав «Не язви, Варвара», он потянулся к двум котам-одногодкам – черному Цыганчику и белоснежному Бельчику – и, ухватив одного из них, хотел усесться на прежнее место. И замер. Потому что появилась эта девчонка. С черной челкой до глаз. С большими волосами, завязанными в «конский хвост», в коротенькой юбке со встречными складами и синей матроске с отложным воротником, украшенным белой полосой. Оказываются, их класс репетировал официальный прием к Первому сентября, и такая вот форма была ну просто необходима для парада как в школе, так и дома. Ах, Сашенька... С пластикой олененка-лани. С глазищами, а не глазами. С выражением лица, в котором как-то уживались и застенчивая скромность, и осознанная красота. Учитель-филолог пал ниц. Его тезка Саша, сказав «здравствуйте», прошагала в дом, а он произнес: «Ну вот попадетсЯ такая ученица в классе, и что делать?». Бедный-бедный молодой женатик Александр, он пока не знал, что будет назначен классным руководителем именно в Сашкин девятый класс.

Она окончила школу почти отличницей и пришла в студенческую аудиторию. Осознанно и, думая о будущем, которое уже

грозило бесхлебьем. Приученная к труду и зная ему цену, она честно училась. Воспитанная в семейной строгости, о своей красоте не помнила и не поминала. В быту проворна. С людьми дружелюбна. В учебе далеко не хуже всех. С ветром странствий в голове? Ох, пережить бы сессию, а там посмотрим...

Но вдруг и, в общем, неожиданно потянулись-запрыгали к ней листочки с невнятно написанными словами-строчками. Из рук в руки. Через всю аудиторию. Минуя недоумение, легкий смешок и завистливый вздох.

«Маляўка, здравствуй! Ты не удивлена случайно? Да, это пишу я... И знай – «надеясь на взаимность...». «Маляўкой» (маленькой, малявкой) он называл ее на белорусский манер, и было в этом слове что-то интимное, дорогое, подаренное только ей.

В следующий раз «прибегало» такое:

Я не призрак комиссара
Из киношки «Фантомас»,
Так зачем смеяться надо
Утром, вечером, сейчас?

Подозревая ее в искусственно взлелеянной «незаинтересованности», он был настойчив и продолжал:

Я пишу и улыбаюсь,
Отвергая этим грусть:
Стих – для жизни, это – радость.
Ты смеешься? – Ну и пусть.

Но когда появилось вот это:

Пришла весна. Мы радостнее стали –
Вон капли падают, звеня,
И я хочу, хочу, чтоб все узнали –
Я здесь, и я люблю тебя, –

стало ясно: вон из аудитории, пора в парки и сады. Конечно же, они сорвались и побежали.

И были в их тогдашней весне и парки, которые они узнали и полюбили навсегда, и город, который одарил их торжеством достойной архитектуры, музыкой площадей, красивых улиц и неожиданной вязью ночных приморских переулков. Одурающе пахли сирени, рычали цикады, и «гроздь акации белой», все повторяясь, намертво оседали в головах. Он, человек из лесного приволья, дарил ей свое море. Как оказалось, не столько Черное, сколь Голубое:

Снова ветер и брызги шальные в лицо,
Снова соль на губах от морского прибора.
Мы стоим и вдыхаем еще и еще
Голубое и Черное море.

* * *

Они делили если не дом, то часто хлеб. Аскетично-советское время диктовало свои законы, жить вместе в одной комнате институтского общежития они не могли – как минимум был нужен штамп в паспорте, подтверждающий супружество. Но оба понимали – их отправили учиться, а не жениться. А без родительского благословения-соизволения замуж тогда не шли. И не женились тоже. «Шурко-Маляйка-Сашенька» и взрослый Петр, не нарекая себя женихом и невестой, как говорили тогда, продолжали «встречаться».

Встречались. Вечерами осваивали большефонтанские дали, сидели на ребристых скамейках, спускались к самому морю. Зимой пошли в секцию плавания, и он все переживал, что Саша, выросшая на берегу большой реки, умеет преодолеть рекордные секунды на малой дистанции, а на большой позади всех. Никакие разговоры о том, что климат, в котором она росла, съедает легкие и дарит вечный бронхит, не помогали: ему хотелось видеть в ней чемпионку. Во всем, и в спорте тоже.

Летом они работали. Пытаясь заработать на пальто, джинсы и на дальнейшее житье. Саша отправилась проводником в поездной бригаде по самому дальнему маршруту. Отчаянные девчонки, в которых и весу-то было чуть больше пятидесяти килограммов,

взялись вдвоем обслуживать три общих вагона. Еще не понимая, как это трудно и опасно. Потому что – кто едет общим вагоном в дальние края? Потому что глубокой ночью на каком-то таежном полустанке нужно стоять с фонарем одной, да еще и перебегать к другому вагону. А люд ехал отчаянный, а девчонкам было по двадцати лет. И только много-много лет спустя, нечаянно разговорившись, она спросила:

– Скажи, а почему ни ты и никто из близких не отговаривал меня?

И старшей Варваре пришлось держать ответ. За себя и за всех:

– Зная твой характер, отговаривать и не брались. И еще, Александра, воспитанные в СССР, мы свято верили в светлые души строителей коммунизма. Разве нет? Помнишь, я рассказывала, как на уборке винограда во время колхозной студенческой страды эски наполняли ведра-ящики студенток и просили об одном: «Выполните норму, поговорите с нами». И каких только рассказов не было, и какие только стихи не читались!

– Если б ты знала, как трудно было, как обирали, унижали и обзывали. Держало одно: «Вот съедемся к сентябрю, и Петр...».

Дыхания на продолжение фразы ей не хватило.

А он, он мотался по стройотрядам. Чтоб было на картошку осенью и зимой. Чтоб одеть-обуть брата, помочь отцу и дарить любимой девчонке не цветы, а охапки этих цветов. И письма бежали-бредли по дорогам их необъятной страны. И читала их Саша как собрание сочинений – раскладывая по датам и представляя Петра сначала в июне, потом в июле, потом в августе:

«Шурко, ты далеко, но все равно рядом...».

«Малявка, я тебя не замучил стихами? Правда, хорошими стихами этого, по-моему, сделать нельзя. А сегодня я тебе переписываю стихи Юлии Друниной, ты просила».

Он представлял ее в дремучем лесу, выстраивая сюжет, которым бредят только дети и влюбленные:

Меж деревьев мох и травка,
Шум листвы и гомон птиц,
По траве бежит Малявка
И пыхтит, как старый шпиц.

Пыхтит, потому что нашла большой гриб и тащит показать: в эту шляпку кто-то вгрызался, и теперь у грибка есть глаза и рот. А вот еще и хвоинка. Большая-длинная, потому что сосновая. А ему хотелось сказать, что в белорусских лесах она найдет еще и не такое – и обязательно счастливое и очень большое. Потом, пребывая в «строителях коммунизма и новых городов», срывался и на другую патетику:

И любовь мы строим, как город,
Ошибаясь, радуясь, горя...

И хорошо было то, что строчки ее друга Петра-Пети-Петруся перекликались в ней самой с теми, что звучали у близкой обоим Юлии Друниной:

Сколько силы в обыденном слове «милый»,
Как звучало оно на войне...

Вот тогда, тем летом, разлучившим их пока ненадолго, она узнала о нем то, что он скрывал ото всех, боясь показаться смешным: «Я – безалаберное дитя природы»; «Я – из затянувшегося детства».

* * *

Они «покоряли природу» вместе. Заправскими туристами, что уже по разъезженной осенней колее могут притащить на себе объемный скарб, на выходные поселиться в палатках, петь опять же под Петькину гитару. Он отдаст ей свои ботинки, потому что она приехала в каких-то развалюхах. А уже конец октября. Приладив к ногам что-то невообразимое, он разжигал костер, навешивал казан, удлинял с помощью палки и проволоки ручку сковородки. И на какой-то фотографии остался след этих походов и утех. Петр босиком у костра. Вязаная шапка с помпошкой на правом ухе. В руках – сковородка. И строчки на обороте фотографии: «Тебе, Шурко, и снова от меня».

Задумчивая Александра в штормовке, в брюках с закатанными обшлагами и в огромных мужских ботинках сидит на скатке на берегу какой-то речушки. Девчонки хохочут у палатки, потому что к ним по-пластунски крадется-подбирается какой-то парняга. И снова он, Петр, прислонившись к уже безлистому дереву. С гитарой и в развевающихся кудрях.

А еще они сплавлялись на байдарках. Официально участвовали в слетах таких же замерзших и сумасшедших, как сами. Стояли поодиночке или группой у озерной глади. Продирались сквозь «хаци». И была задумчиво-мила и отвлеченно-лирична Сашенька. Плохо экипированная, но явно решающая какой-то шаг своей судьбы. Смотрящая на воду, как на гладь пророчащую. А на поперечном бревне, переброшенном через ручей-безымянку, позировал Петр. Моросило, и серым было все окрест. А он улыбался. А потом – широкозубо и открыто – они улыбались вместе, и эта фотография объяснила Варе все. И то, что этим двоим нужно быть вместе. И то, что этот влюбленный навсегда белорус будет Сашке опорой. Конечно, думалось и о том, что «им не разрешат...». Но так хотелось, чтоб этого не случилось.

Случилось, случилось. Сентябрьским днем их третьего курса они появились в доме Вариных-Сашенькиных родителей. В том самом, где мечтали дать образование детям, но требовали беспрекословного подчинения родительской воле. Сидели за столом. Нужно было снимать урожай винограда – поехали через Дунай на островной огород. В доме гостил дальний родственник, поэтому делали вид, что приехали «просто однокурсники». Петр помогал и вел себя по-мужски. Не бычился, не стеснялся и не забыл собрать букетик плавневых цветов-растений для глазастика-Сашки. Там же, и как бы между делом, им сказали строгое «нет». Оба выдержали. И слово-камень. И длинный путь через Дунай. И разгрузку-выгрузку корзин с виноградом. И ужин за общим столом, и нейтральный разговор с гостем. Потом быстро собрались и пошли на ночной автобус. Их не останавливали. Ни окликом, ни жестом.

И что-то треснуло и надломилось. Сначала – в Петре. Запил. Не являлся на лекции и в Сашкину комнату. А она тот год проживала «подкидышем». Это когда, увлеченная и безоглядно

влюбленная, все-таки запустила учебу и не добрала в сессию «прожиточные» баллы. Встав перед дилеммой «стипендия или общежитие», выбрала стипендию. Девчонки вошли в положение: в трехместной комнате, сдвинув две кровати и положив поперек чертежные доски, спали втроем. Царствовала в одиночку на одноместной постели только одна. С ней иногда менялись, чтоб «понежиться». Коменданта как-то упросили, кому-то что-то уплатили. А Петр не появлялся. А Сашенька чернела и заострялась лицом. Приходила к Варваре. Подолгу возилась с малышом-племянником. О себе помалкивала. О Петре отвечала нейтрально. Ее жестковатость сестра восприняла как взросление – в их семье умели быть каменно-молчаливыми.

Теперь их – Саши и Петра – жизнь текла непраздничным ручьем и завязывалась если не узлами, то просто большим узлом. За Петром шаг в шаг следовала девушка Лана. Светленькая. С хорошим лицом и глазами. Давно отличившая белоруса и следившая за поворотами в его судьбе. Теперь это выглядело «преследованием на близкие расстояния»: он с лекции – и она бегом; он в бассейн – и она туда же; он еще куда-то – и она следом. Слово «близкие» оказалось многозначным, и вокруг заговорили о тех самых «близких отношениях», в которых состоят теперь Петр и Лана.

* * *

Наверное, безоглядно полюбив чернушку-Сашу, он не успел понять ее характера. Она могла составить честь любому мужчине. И красотой, и воспитанием-выучкой, и открытым сердцем. Но горделивая стать не прощает предательства, и эта девчонка-пуговица не простила. К чести Петра, он попытался помириться. Приходил с большим снопом ромашек, но «навеселе». Стесняясь девчонок, все равно часами просиживал в комнате и отмалчивался. Его приглашали к столу с неизменной картошкой на сковороде и огурцами-помидорами в глубокой тарелке, – он садился и долго ковырял вилкой то, что было предложено. Он писал ей, и эти сохраненные Сашей записки через много лет потрясли Варвару. Сначала в них были попытки примирения:

Теплоту твоих рук я в ладонях храню,
Крылья-руки даны тебе, Сашка, наверно.
Как сейчас прикоснуться губами хочу
К тем рукам – и губами, и сердцем.

.....
Зачем весна опять стучится в душу,
Даря прекрасный миг раздумий и тревог?
Ведь тот, кто мне безмерно нужен,
Так от меня и близок, и далек.

Потом пришла констатация его неуходящей беды-печали, и прозвучал крик-просьба, подкрепленный популярным тогда стихом Александра Кочеткова. Тем самым, в котором «с любимыми не расставайтесь...»:

Листья под липами, листья под кленами,
В парках аллеи уже золоченые,
Серое небо и красное солнышко,
Только вот сердце грустью исполнено.

Р. С. «Как больно, милая, как странно // Раздваиваться под пилой...»

Напиши мне. Напиши!»

Он не смог отказаться от писем и писал ей летом между четвертым и пятым курсами. Наверное, намеренно повторяя старое обращение:

«Маляўка, здравствуй! Ты не удивлена случайно?

Да, это пишу я. Каждое лето институтской жизни я писал тебе. И почему это должно быть исключением?..

...Я не знаю, что сказать, и потому – благодарю тебя. Прости, мне по-прежнему больно... Здесь в сквере много цветов. Я давно никому их не дарил.

...Напиши мне пару строчек. Как отдохнула? Как малый детеныш-племянник? Как...? Как...? Пожалуйста. Адрес – у Галки».

Она не ответила, но записки-письма сохранила. Как оказалось – на долгие-долгие годы вперед.

Когда в конце пятого курса Петр женился на заметно беременной Лане, и комнаты, объединяясь, готовились к общему веселью, ей сказали: «Отъедь куда-нибудь, иначе свадьбе не бывать». Холодные ветры дули ей в спину, молча собравшись, она уехала. Вернувшись, продолжала жить как бы в прежнем ритме. Как бы дружила с мальчишками, как бы веселилась в круговерти студенчества. Тоненькая. Большеглазая. Очень красивая.

Они оба – Петр и Саша – так и не смогли работать по специальности. Да, выросшие на «сухих кусках», они знали цену теплему хлебу. Их лакомством была банка сгущенки. Радостью – утренний сеанс в кино, потому что стоил он двадцать пять копеек. Оба мечтатели, они пришли в технологический и оказались на мясомолочном факультете. Потому что при малой инженерной зарплате специалистам полагался небольшой мясомолочный паек, а еще – «полкило мяса хоть на ладони неси». Казалось бы, все продумали, а получилось по-другому.

Уже на втором курсе их поставили туда, где убивали животных, и это была варварская живодерня. Очень не скоро Саша сказала, что сломалась тогда, когда увидела глаза обреченных лошадей, а потом – множество подков на полу цеха. А в стихотворном отчете о практике третьекурсника Петра, адресованном все той же ненаглядной Александре, прозвучало:

Тут нас хотят – да видано ли это? –
Сделать безбожными убийцами скота,
А я, наверное, мог стать поэтом
И про любовь писал бы без конца.

В общем, кровь, мука и плач животных вывернули и его – взрослого парня, которому уже грезилось совершенно другое:

Мне бы в деревне старенькую хату
И чтобы рядом был такой же старый лес.

Не получилось. Ни леса, ни любимой Сашки-Шурка, ни профессии, дающей статус и зарплату. Вместе с Ланой и маленькой доч-

кой они осели в Белоруссии, и многие годы Чернушка-Малявка о них ничего не знала.

* * *

Старые фотографии – непарадного качества и уже пожелтевшие – нашлись в старой планшетке. Тут же, спрессованные в общем дерматиновом кармашке, примостились-улеглись и Петины стихи. Филологиня Варя потянулась к ним, а ее сестра Саша, так и быть, позволила их прочесть. Вот наискосок от главного корпуса института и к счастью, обозначенному двумя цветущими деревьями, бегут Шурко́ и Петр. Сквозь годы и молодость. И нет уже той бочки с мыльным квасом, и в прошлом безоглядная юность. А на обороте старого снимка надпись:

Это ты. Это ты. Это я. Это мир.
Это в прошлое взгляд. Это юности миг.
Невозвратны шаги. Не течет вспять река.
Ты сейчас далека. От меня далека.

Оказывается, он принес ей эту фотографию уже на их последнем курсе. Уже связав свою жизнь с Ланой. Уже констатируя трезво и с отчаянием:

Все подвластно судьбе. И один я теперь,
Что сказать? – Вспоминаю о прошлом...
Знаю, знаю, не войдешь в приоткрытую дверь,
И ко мне не шагнешь осторожно.

Уже казнясь осознанным опытом, спрессованным в короткой строфе:

А боль такая оттого,
Что сам когда-то делал больно...

Прав был еврей-фотограф, которого таки разыскал Петр: эта их пробежка по улице, расцвеченной ярким солнцем и в наряде

цветущих каштанов, оказалась не просто памятной, а долго-значимой.

Петр ушел из жизни рано. Оберегая Сашу, ей о нем не рассказывали. Она не ездила на встречи выпускников, но однажды, «двадцать лет спустя», ей передали большую фотографию однокурсников, и Варин взгляд остановило чье-то женское лицо. Безусловно красивое и с отрешенно-грустными глазами.

– Кто это? – не удержалась она.

– Лана, – ответили ей.

«Господи, как трудно быть с не любящим тебя мужчиной, зная, как он умеет любить», – подумалось Варя.

Рукой и сердцем она, теперь старшая в семье, часто тянулась к последней памятке, связанной с Петром, с которым когда-то познакомилась нечаянно и ненадолго. Это была его открытка ко дню рождения Саши. Простенькая и непарадная. С вязью мелких букв, что укладывались в пронзительные строки: «Вот и всё. Отцвели для нас с тобой нарциссы и розы. Но останутся парки и море. Я знаю – ты любишь осень, но пусть в душе твоей всегда будет весна. Всего тебе доброго, пусть Маляўка всегда остается Маляўкой. Счастья тебе».

Нет, большого счастья в жизни этого олененка-Бемби не случилось. И потому, перебирая «наследье юности мятежной» – Петины слова и строки, сохраненные в планшете из козжама, – Варя вспомнила и другие, подаренные миру Иваном Буниным. Те самые, что в «Холодной осени» возвращали его героине сгинувшего в войне возлюбленного: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...».

Ну что ж, да святится имя Твое и память о тебе, белорусский юноша Петр.

